

В. П.
АВЕНАРИУС

ОТРОЧЕСКИЕ
ГОДЫ ПУШКИНА



Василий Петрович Авенариус

Отроческие годы Пушкина

Серия «О Пушкине», книга 1

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2553925

Аннотация

«В необычную пору дня, в 9-м часу утра 12 августа 1811 года по Невскому проспекту, усаженному еще в то время четырьмя рядами тощих лип, катился щегольский фаэтон. Маленький грум в парадной ливрее сидел сзади, на возвышенных запятках, со скрещенными на груди руками, потому что экипажем правил сам владелец его, молодой еще человек, лет 26-ти. Полное и красивое лицо его дышало душевным благородством и неподдельною добротой. В быстрых глазах его светился живой, пытливый ум...»

Содержание

Глава I	4
Глава II	18
Глава III	31
Глава IV	43
Глава V	55
Глава VI	62
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Василий Петрович Авенариус Отроческие годы Пушкина

*В те дни, когда в садах лица
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.*

Евгений Онегин

Глава I Поэт-дядя и поэт-племянник

*Мой дядюшка-поэт
На то мне дал совет
И с музами сосватал*

К Дельвигу

Ты, бесенок, еще молоденок.

Сказка о купце Остолопе

В необычную пору дня, в 9-м часу утра 12 августа 1811 года по Невскому проспекту, усаженному еще в то время четырьмя рядами тощих лип, катился щегольский фаэтон. Маленький грум в парадной ливрее сидел сзади, на возвышенных запятках, со скрещенными на груди руками, потому что экипажем правил сам владелец его, молодой еще человек, лет 26-ти. Полное и красивое лицо его дышало душевным благородством и неподдельною добротой. В быстрых глазах его светился живой, пытливый ум.

То был общий любимец высшего круга Петербурга и Москвы, Александр Иванович Тургенев¹.

Лично хорошо известный всему царскому дому, он, благодаря своему блестящему образованию, своим редким способностям и душевным качествам, шел быстро в гору и уже год тому назад занял высокий пост директора департамента духовных исповеданий. Но этот баловень судьбы, казалось, заботился не столько о собственной своей карьере, которая устраивалась как бы сама собою, сколько о судьбе близких ему людей, которые без его поддержки не пробили бы себе, быть может, дороги к жизни.

Так и сегодня, несмотря на свою природную тучность и

¹ Родственник нашего знаменитого писателя И. С. Тургенева. – *Здесь и далее примеч. автора.*

склонность к пуховикам, он нарочно поднялся так рано из-за 12-летнего мальчугана, судьбу которого взял в свои руки. В Царском Селе должно было открыться на днях привилегированное учебное заведение совершенно нового образца, именно – лицей, куда московский приятель Тургенева, Сергей Львович Пушкин во что бы то ни стало желал определить своего старшего подростка-сына Александра. По особенной только протекции Тургенева мальчик был занесен в список кандидатов в лицей; сам же Тургенев привез его из Москвы, а теперь ехал напомнить, что сегодня предстоит приемный экзамен, потому что как было положиться на маленького ветреника? Как было положиться и на дядю его, Василия Львовича Пушкина, приехавшего также вместе с ним из Москвы? Тот, как стихотворец, витал, обыкновенно, в заоблачном мире, а теперь, к тому же, весь был поглощен одним литературным спором. Дело в том, что в одном послании к другу своему, Жуковскому, он имел неосторожность похвалиться знанием древней литературы:

Вергилий и Омир, Софокл и Эврипид,
Гораций, Ювенал, Саллюстий, Фукидид
Знакомы стали нам...

На это прежний друг, а теперь заклятый журнальный враг его, президент академии наук Шишков, позволил себе в полном собрании академии заявить, что есть-де «стихотворцы, которые призывают к Вергилиям, Гомерам, Софоклам, Еври-

пидам, Горациям, Ювеналам, Саллюстиям, Фукидидам, за-
твердя только имена их и – что всего удивительнее – научась
благонравию и знаниям в парижских переулках».

Василий Львович Пушкин, особенно гордившийся своим
французским воспитанием и личным знакомством с фран-
цузскими писателями, был до глубины души возмущен этим
брошенным в него незаслуженным комом грязи. Надо было
дочиста смыть позорное пятно! И вот, сопровождая племян-
ника в Петербург, он в продолжение всего пути придумы-
вал новое «послание» к третьему другу – Дашкову, а прибыв
на место, усердно занялся печатанием в лучшей тогда петер-
бургской типографии Шнора отдельной брошюры обоих по-
сланий: к Жуковскому и Дашкову.

Тургенев был почти уверен, что застанет поэта за его бро-
шюрой, – и не ошибся.

Василий Львович, коренной москвич, занимал в Петер-
бурге временную квартиру в небольшом каменном доме на
Мойке. Свернув туда у Полицейского моста, Тургенев оста-
новился у подъезда своего приятеля, бросил поводья груму,
с легкостью юноши, несмотря на свою полноту, спрыгнул на
панель и с тою же легкостью взбежал по лестнице во вто-
рой этаж. Когда он вошел в первую из трех комнат Василия
Львовича, служившую и приемной, и столовой, и уборной,
то увидел именно ту картину, которую ожидал.

Сам Василий Львович, невысокого роста, полный и рых-
лый мужчина средних лет, сидел перед простеночным зерка-

лом с пудермантелем на плечах. Безотлучный старик-камердинер его, Игнатий, юлил около него с дымящимися щипцами. Вся голова барина была уже в искусных завитках; оставалось только прижечь над высоким челом верхнюю буклю. Но едва Игнатий успел захватить щипцами последнюю прядь волос на барской макушке, как Василий Львович наклонился опять над подзеркальным столиком, чтобы исправить красным карандашом типографскую опечатку на корректурном листе, который он держал в руках.

– Да я вас, сударь, ей-Богу же прижгу!.. – проворчал Игнатий, успев еще вовремя отдернуть руку при внезапном движении барина.

– Только смей! – отозвался поэт и, окончив поправку, распустил опять перед собой корректурный лист.

– Все еще за корректурой? – спросил, по обычаю того времени, по-французски Тургенев, подходя к приятелю с насмешливо-добродушной улыбкой.

– Все за корректурой! – был французский же ответ.

Но при этом Василий Львович так неожиданно вспрянул с места, что камердинер, несмотря на привычку к парикмахерскому делу, дернул-таки его щипцами за прижигаемый флок. Барин испустил болезненный вопль.

– Сами виноваты-с, – оправдывался Игнатий. – Благо бы делом занимались, а то нет, все, вишь, проклятые эти стихи...

– Уж ты-то, братец, сделай милость, не рассуждай! Ну что

ты в стихах смыслишь? – говорил барин-стихотворец, важно расхаживая взад и вперед в пудермантеле, как в римской тоге, с корректурным листом в руках. – О, я ему этого так не спущу! Запляшет он у меня!

– Да за что же-с, сударь? На старости-то лет?

– Не об тебе речь! – отмахнулся листом Василий Львович.

– А об ком же-с?

– Об том, кому я готовлю сию позлащенную пилюлю!

– Хоть убейте, в толк не возьму, – твердил Игнатий, бегая с щипцами по комнате следом за барином. – Маленечко бы вам, сударь, только еще присесть... по вискам бы пройтись...

– И так бесподобен! – решил Тургенев, без дальних околичностей срывая с плеч приятеля белую тогу. – Поддай-ка теперь живее барину одеваться. А что, племянник твой готов? – спросил он Василия Львовича.

– Несомненно, – отвечал тот с достоинством, продевая руки в поданный ему камердинером фрак.

Коротенький, по тогдашней моде, с коротенькими же фалдами, небесно-голубого цвета фрак плотно облегал его небольшое пузатое тельце. Туго накрахмаленное острое жабо крепко упиралось в свежевыбритые, лоснящиеся щеки. Богатая вышивка сорочки так и выпячивалась из-под молочно-желтой пикейной жилетки, по которой вилась и блестела змейкой вывезенная самим Василием Львовичем из Парижа тоненькая золотая цепочка; с цепочки же свешивался целый арсенал дорогих бирюлек, бряцавших при всяком движении

по колыхающемуся брюшку.

– Хоть сейчас на бал! – сказал Тургенев и, взяв приятеля под руку, вошел вместе с ним в спальню его племянника – Пушкина, в то время еще не знаменитого Александра Сергеевича, а просто – шалуна Александра.

Вошли они – да так и остолбенели в дверях. Александр и не думал еще вставать с постели. Но он не спал. Выпростав руки из-под одеяла, он гусиным пером усердно царапал что-то на четвертушке бумаги, которая лежала около его изголовья, на краю постели.

– Хорош мальчик, нечего сказать! – произнес после некоторого молчания Василий Львович, стараясь придать своему голосу возможную строгость. (Весь следующий разговор, как и предыдущий, происходил вперемежку то по-русски, то по-французски.)

Услыхав слова дяди, молодой Пушкин очнулся и быстро сунул бумажку и перо под подушку.

– Напрасно трудишься, милый мой: улика налицо, – продолжал Василий Львович, указывая на чернильницу, стоявшую на стуле около изголовья.

– А главное – непрактично, – добавил Тургенев, – чернила с подушки едва ли смоются.

– Смоются! – засмеялся в ответ мальчик. – Но знаете что, Александр Иванович: если стих раз засел гвоздем в голове...

– То надо его и увековечить, хотя бы Дамоклов меч висел над головой! – тем же шутливым тоном досказал Тургенев. –

Брал бы пример с дяди: тот нынче хоть бы пальцем к своей корректуре прикоснулся.

Василий Львович неодобрительно покосился на приятеля, а Александр, поняв шутку, звонко расхохотался. При этом довольно некрасивое смуглое лицо его африканского типа, обрамленное курчавыми белокурыми волосами², разом преобразилось: слегка вздернутые губы открыли ряд белых крепких зубов и сложились в плутоватую, премилую усмешку, а быстрые, умные глаза под темною дугой бровей так и заискрились. Невзрачный, на первый взгляд, мальчик обратился чуть не в красавца.

В ответ на неделикатный смех племянника Василий Львович только пожал плечами и, достав из кармана серебряную с финифтью табакерку, взял кончиками пальцев щепотку табаку.

– Да ведь я, дядя, по вашим же стопам... – начал Александр.

– То есть, куда конь с копытом, туда и рак с клешней? – с достоинством отозвался дядя и, не спеша, угостил табаком свой крупный, загнутый на одну сторону нос. – Тягаться с дядей не тебе, молокососу. Заслуги мои на российском Парнасе изрядно известны. Поэма моя в несчетных списках ходит из конца в конец по всей матушке-России. Послания мои, басни, экспромты всеми и каждым заучиваются наизусть. А почему? – Потому, что до такой тонкой сатиры, как моя, не

² Волосы А. С. Пушкина стали темнеть только с 17-летнего возраста.

дошел ни Крылов, ни даже достоуважаемый наш друг-поэт и министр Иван Игнатович³.

Вы вспомните о том, что первый, может быть,
Осмелился глупцам я правду говорить,
Осмелился сказать хорошими стихами,
Что автор без идей, трудясь над словами,
Останется всегда невеждой и глупцом;
Я злого Гашпара убил одним стихом!⁴

Убил наповал, как вы, друзья мои, сейчас и убедитесь. Эй, Игнатий!

Из дверей столовой высунулась седовласая голова Игнатия.

– Самовар, сударь, подан.

– Дело теперь не в самоваре! Подай-ка сюда корректуру.

– Я отдал ее сейчас рассыльному.

– Врешь ведь?

– Зачем мне врать? Пожалуйте, сударь, чай заварить. Всегда за разговором забудете...

И голова Игнатия уже скрылась за дверью.

– Врет! Ей-Богу, врет, – вполголоса заметил Василий Львович. – Ну да Господь с ним! Итак, припомним. Внимания, государи мои!

³ Василий Львович разумел известного в то время писателя И. И. Дмитриева, который с 1810 по 1814 г. был и министром юстиции.

⁴ Из послания В. Л. Пушкина к * * *.

Он картинно отставил ногу, выпятил грудь, простер вперед правую руку и готов был уже продолжать декламировать; но Тургенев взглянул на часы и остановил его за руку.

– Уже половина девятого, душа моя. А в десять ведь эк-замен.

– Первая перекличка. Ты выслушай только пару строк. Шишков, как знаешь, укорял меня в том, что Париж я знаю будто бы только по закоулкам. Ха! А я ему вот что на это:

Не улицы одне, не площади, не дома, —
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне были там знакомы:
Они свидетели, что я в земле чужой
Гордился русским быть и русский был прямой...

– И так далее, – прервал Тургенев. – Я это уж слышал.

– Нет, уж извини. До сих пор никто еще не удостоился...

– Ну так что-нибудь в том же роде.

– Да это легкое подражание, – неосторожно ввернул маленький Александр.

– Подражание?! – вскинулся на него дядя. – Кому?

– Да я только так, дяденька... Может быть, это случайное совпадение: великие умы сходятся...

– Нет, голубчик, не отвиливай! Говори: кому я подражал? Ну!

– Если вы, дядя, уж непременно требуете... Помните, у Фонвизина, в его «Послании к Шумилову, Ваньке и Петрушке», сказано:

Москва и Петербург довольно мне знакомы;
Я знаю в них почти все улицы и дома...

Далее продолжать ему уж не пришлось. Задетый за живое, маститый стихотворец поймал племянника за ухо и приподнял его так с кровати. Но тот, как был – неодетый, необутый, – тут же бросился к дяде, обвил его руками и вихрем закружился с ним по комнате, напевая модный в то время вальс.

– Оставь!.. Сумасшедший!.. – пыхтел Василий Львович, тщательно выбиваясь из цепких объятий шалуна.

– А сердиться не будете? – спрашивал на лету племянник.

– Не буду... отпусти только душу на покаянье!

Александр разнял руки, и толстяк мешком повалился в ближнее кресло.

– Уф! Совсем измучил, злодей... И табак-то просыпал... и сорочку измял...

– Новую наденете.

– Ну да, как же! А вот тебе так в самом деле пора одеваться.

– Да, Александр, поторопись, – подтвердил Тургенев, – а то как раз опоздаешь.

Александр беспрекословно принялся за свой туалет.

– А поэта из тебя все-таки никогда не выйдет! – последним залпом выпалил в него дядя.

– Только еще не признан, как вы, – отшутился мальчик. – У вас, говорите вы, есть своя поэма? И у меня есть своя: «La Toliade».

– За которую тебе учитель Русло уши надрал?

– Из зависти, дядя, чисто из зависти, потому что стихи мои были лучше его стихов. Но чего у вас нет, а у меня есть, – это знаменитая комедия «L'Escamoteur», которую я сам же и представлял.

– И которую единственная твоя публика – сестрица твоя Оля – нещадно освистала?

– Нет, Василий Львович, – вмешался тут Тургенев, – ты, право, слишком требователен. От 12-летнего мальчика разве можно ожидать бессмертных произведений? Но стихи Александра хоть куда.

– Да какие стихи? – французские; а кто же теперь не пишет гладких французских стихов?

– Нет, в нем горит, кажется, и настоящий поэтический огонек. Я так теперь вижу такую картину: сам ты, Василий Львович, взмогнулся на стул среди зала и вдохновенно декламируешь что-то. Со всех сторон плотно обступили тебя взрослые слушатели; а к самому стулу твоему прижался вот этот мальчуган и, бледный, взволнованный, не смеядохнуть, глаз с тебя не сводит, ловит каждое твое слово...

От такой поддержки со стороны неизменного его защитника, Тургенева, щеки мальчика вспыхнули, глаза заблестали.

– Да, есть люди, которые и теперь признают в моих сочинениях некоторый талант! – не без гордости заявил он.

– Вот как! – усмехнулся дядя. – Кто ж эти ценители? Такие же малолетки?

– Нет, взрослые... барышни...

– А! Барышни. Да, действительно, это первые судьи. Кто же именно?

– Да все наши московские знакомые... Помните, перед самым отъездом из Москвы мы с вами провели последний вечер у Воронцовых? Ну так вот, все барышни, что были там, окружили меня и стали наперерыв просить написать каждой из них в альбом хоть какой-нибудь стишок.

– И ты написал?

– Написал.

– Каждой?

– Каждой.

– Поздравляю – только не их. Впрочем, до сих пор ты пишешь одни французские вирши; поэтому каковы бы они ни были, русского стихотворца из тебя никогда не выйдет.

– А вот увидим! Хотите, дядя, об заклад побиться?

– Поди ты со своим zakładом! Однако, ты никак и оделся, и умылся? Идем же теперь чай пить. И ты, Александр Иванович, конечно, не откажешься от стаканчика?

Тургенев взялся за шляпу.

– Спасибо, брат, – сказал он, – я дома уж напился. Смотрите, господа, не замешкайтесь. Ужо заеду узнать о резуль-

тате.

И добрый гений своих друзей и знакомых исчез, чтобы лететь далее – благодетельствовать другим.

Глава II

В ожидании экзамена

*Завтра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.*

Полтава

Приемный экзамен должен был происходить на квартире министра народного просвещения, графа Алексея Кирилловича Разумовского. Пробыло уже девять, когда Пушкины, дядя и племянник, снимали свое верхнее платье в швейцарской министра.

— Ну что, мой друг, каково тебе? — спросил Василий Львович, полузаботливо, полусхотливо заглядывая в лицо племянника. — Забила, чай, боевая лихорадка?

— Ничуть, — отвечал тот, отворачиваясь.

— А что же ты так ежишься? Дай-ка сюда руку — пульс пощупать.

— Ах, перестаньте, дядя! Пойдемте...

— Ага! Знает кошка, чье мясо съела.

Они стали подниматься по широкой, устланной красным ковром лестнице с колоннами. На первой же площадке попала им небольшая группа: присевший отдохнуть на вы-

сокий ясеневый стул белый, как лунь, старичок-адмирал, а подле него два мальчика в какой-то полукадетской форме – в черных куртках со стоячими воротниками и с металлическими пуговицами. Взоры обоих кадетиков были устремлены на приближавшегося к ним Александра, и он, с непривычной ему застенчивостью, отвел в сторону глаза и прошмыгнул мимо. Но на повороте лестницы до него явственно донеслось снизу: «Тоже, видно, экзаменоваться идет», – и он оглянулся; глаза его встретились с глазами одного из мальчиков. Оба они смущенно улыбнулись, и Пушкин ускоренным шагом, почти бегом, стал опять подниматься по лестнице и скрылся за поворотом.

Но от этой улыбки будущего товарища сердце в груди его, как пташка, встрепенулось. Ему стало вдруг так весело и легко, точно он предчувствовал, что вот кто будет ему на много лет лучшим другом.

В большой и светлой приемной министра записавшиеся к экзамену мальчики были уже почти в полном сборе. Каждого из них, разумеется, сопровождал какой-нибудь родственник или воспитатель. Василий Львович, обведя присутствующих испытующим оком, направился прямо к молодому сановитому генералу в аксельбантах, которого он хотя и видел впервые, но в котором сразу узнал своего брата – человека высшего круга. Подсев к генералу, он не замедлил завязать с ним оживленную беседу на французском языке и, казалось, забыл уже о существовании племянника.

Около них не было ни одного свободного места, и Александр, переминаясь, огляделся, где бы ему пристроиться.

– Да садитесь к нам! – зазвенел тут вблизи него детский голосок.

На диване сидели дама, мальчик-подросток и крошка-девочка, лет четырех-пяти, пухленькая, беленькая, вся в белокурых локонах, при всяком движении колыхавшихся вокруг ее прелестной головки. Она доверчиво подняла на Александра свои большие небесно-голубые глазки и приветливо манила его ручкой:

– Вот сюда... около брата. Тося, дай же место!

Брат отодвинулся, и Пушкин с поклоном уселся рядом с ним. Надо было в благодарность хоть сказать что-нибудь; но с чего начать? Он искоса оглядел своего соседа. Бледнолицый, серьезный, в синих очках, тот производил впечатление чуть ли не юноши.

– Вы издалека? – наконец решил начать Александр.

– Из Москвы, – был ответ.

– И я оттуда же.

– И вы из Москвы? – подхватила, обрадовавшись, малютка-девочка. – Как же мы с вами не встретились по дороге?

– Потому что, вероятно, ехали в разное время. Я уж с июня месяца здесь; а вы?

– А мы только со вчерашнего дня. Мы приехали вместе с мамашей и вот с мадемуазель, нашей гувернанткой; но мамаша очень устала с дороги и осталась на даче в Петергофе...

– Замолчите ли вы, Мими! – по-французски шепнула тут болтушке мадемуазель.

Разговор на минуту прервался. Но неутомимый язычок Мими не давал ей покоя, и она снова затараторила:

– А сколько вам лет?

– Двенадцать, – отвечал Пушкин, с трудом подавляя улыбку.

– О! Так брат мой гораздо старше: ему на прошлой неделе пошел уже четырнадцатый год⁵. А как ваше имя?

– Пушкин Александр Сергеевич.

– Как важно! А брата мы зовем просто Тосей.

Теперь француженка-гувернантка сочла нужным пояснить Пушкину, что его сосед – барон Антон Антонович Дельвиг.

– Так вы, стало быть, немец? – обратился Пушкин к молодому барону.

– Ой нет! – отвечал тот. – Фамилия у меня только немецкая, потому что предки наши из лифляндцев, но сам я и телом и душой русский, православной веры и по-немецки не умею почти, что называется, в зуб толкнуть.

– Так же, как и я! – точно обрадовался Пушкин. – Вместе, значит, отличимся: в компании провалиться все же не так обидно.

– Не провалитесь, если знаете по-французски; ведь можно

⁵ А. С. Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 г., в день Вознесения; барон Дельвиг – 6 августа 1798 г.

экзаменоваться из одного какого-нибудь иностранного языка: или немецкого, или французского.

– О! Тогда мне не страшно!

– Завидую вам! – вздохнул Дельвиг. – Я ни в одном предмете не тверд.

Француженка, понимавшая, как видно, по-русски, с укором взглянула на чересчур откровенного барона и постаралась смягчить его приговор о себе.

– Здоровье молодого барона, – заметила она, – довольно слабо, поэтому не в меру утруждать его учением нельзя было.

– Да прибавьте еще к этому природную лень, – добавил по-русски Дельвиг.

– Ну, что до лени, – подхватил весело Пушкин, – то я вам в ней, наверное, не уступлю! Если бы не сестра моя...

– А у вас также есть сестра? – заинтересовалась крошка баронесса.

– Да, годом меня старше.

– У, какая старая! А зовут ее?..

– Олей.

– Отчего же не Ольгой Сергеевной, если вы – Александр Сергеевич?

– Перестаньте, Мими! – остановила ее опять мадемуазель и обратилась к Пушкину: – А кто вас учил в Москве французскому языку?

– Я даже всех и не припомню, – отвечал по-французски

же Пушкин, – граф Монфор, мосье Русло, мосье Шедель... и не перечтешь! А есть, знаете, у нас такая русская пословица: «У семи нянек дитя без глазу».

– Пословица, я вижу, довольно меткая, – проговорила не без колкости француженка.

– А все же ученье вам, видно, впрок пошло, – заметил с своей стороны молодой барон, – вы говорите прекрасно по-французски. Но неужто эти иностранцы учили вас и русскому языку?

– Да, учил такой же иностранец, немец, херр Шиллер; к сожалению, однако, то был не знаменитый поэт Шиллер, а только его однофамилец. Но кроме него у меня русским учителем был еще один священник, человек очень начитанный и ученый⁶. Настоящей же, чистой русской речи я прежде всего научился от няни своей да от бабушки. Няня эта, Арина Родионовна, просто, я вам скажу, клад! Вынянчила всех нас: и сестру, и меня, и брата, да такая мастерица говорить сказки, былины народные, что слушаешь – не наслушаешься. Пословицы, поговорки у нее сыплются как из рукава. А покойная бабушка моя⁷, женщина также вполне русская и хорошо образованная, знала пропасть разных преданий, исторических и семейных, и я, бывало, по целым часам просиживал в ее рабочей комнате: все слушал, развесив уши, ее бесконечные

⁶ Отец Беликов, автор известной книги «Дух Массильона».

⁷ Мария Алексеевна Ганнибал, урожденная Пушкина, мать Надежды Осиповны, матери А. С. Пушкина.

рассказни. Если после всего этого из меня не выйдет поэта, то тут уже, право, ни няня, ни бабушка не виноваты⁸.

В это время общее внимание присутствующих обратил на себя тот старик-адмирал, которого с двумя его птенцами Пушкины застали давеча на лестнице. Дежурный чиновник уступил почтенному старцу свой собственный стул, а сам, стоя, записывал в журнал получаемые пакеты.

– Так что же, милостивый государь, – произнес громким голосом адмирал, – когда же граф Алексей Кириллович со-
благоволит принять меня?

– Сию минуту-с, ваше высокопревосходительство, – за-
суетился чиновник. – Его сиятельство доканчивают туалет
свой...

– А вы, сударь, передайте его сиятельству, – перебил ад-
мирал, нетерпеливо постукивая по полу костылем, – пере-
дайте, что андреевскому-де кавалеру адмиралу Пушину не
пристало дожидать; что мне нужен он сам, Алексей Кирил-
лович, а не туалет его.

Чиновник с поклоном исчез в министерских дверях. Ва-
силий Львович сидел неподалеку от адмирала и, с обычной

⁸ Личности няни и бабушки слились впоследствии в представлении Александра Сергеевича в один общий поэтический образ вдохновлявшей его Музы: Наперсница волшебной старины, Друг вымыслов игривых и печальных, Тебя я звал во дни моей весны, Во дни утех и снов первоначальных. Я ждал тебя; в вечерней тишине Являлась ты веселою старушкой, И надо мной сидела в шушуне, В больших очках и с резвою гремушкой. Ты, детскую качая колыбель, Мой юный слух напе-
вами пленила И меж пелен оставила свирель, Которую сама заворожала.

свою подвижностью, ловко покачивая свое полное тельце на тонких ножках, почтительно приблизился к старику.

– Смею беспокоить ваше высокопревосходительство вопросом, – заговорил он, указывая глазами на двух мальчиков в куртках, которые прислонились тут же к окошку, – внучата-с?

Адмирал Пушкин окинул вопрошавшего в головы до ног орлиным взглядом и, удовлетворенный, по-видимому, осмотром, не торопясь ответил:

– Внучата.

– Позвольте представиться вашему высокопревосходительству: Пушкин Василий Львович, небезызвестный российский стихотворец.

– Слышал, как же. Тоже, чай, кого-нибудь в лицей определяете?

– Да вот, племянничка, сына родного брата моего, Сергея Львовича Пушкина. Может статься, бывали тоже в Москве, слышали про братца?

– Бывать-то бывал, лет с десятков назад, да что-то не помню...

– О! Буде теперь собрались бы, несомненно услышали бы про него. Братец мой, надо вам доложить, в московском высшем кругу играет, так сказать, первую скрипку. Ни один домашний спектакль, ни одна вечеринка с живыми картинами и иным прочим не обойдется без него. А как он читает Мольера! Даже мне, записному литератору и чтецу, за ним

не угоняться. Какие строчит на всяких языках альбомные стишки! Хоть сейчас в печать. А уж по части каламбуров и экспромтов – голову прозакладываю – во всей Европе равного ему не найти: вся Москва повторяет их потом из конца в конец.

– Так у него, стало быть, нет определенных служебных занятий?

– Времени не достало бы, ваше высокопревосходительство, для светского представительства. В юных летах, правда, оба мы с ним тянули лямку в екатерининской гвардии, получили в ней, как говорится, последнюю шлифовку...

– И не дотянули?

– Да-с. Не снесли – если смею так выразиться – ярма военной дисциплины. Да и чего нам еще? Любимы, уважаемы, как сыр в масле катаемся... Я-то, правда, живу почти что бобылем: имею дома только сынка-малютку; но у братца моего этой благодати целая троица, а жена у него первая умница, первая красавица московская!.. Правду сказать, африканского темперамента, – откровенничал словоохотливый Василий Львович, понижая тут голос и поглядывая в сторону племянника, – пальца в рот ей не клади: своенравна, вспыльчива, так что – у! как раз откусит! Да уж и властолюбива же, что греха таить! Забрала в ручки белые весь дом, как есть, вертит всем и каждым, как пешками: и муженьком, и людьми, и ребятишками, за исключением разве этого вон сорванца.

– Так он у вас большой шалун? Неисправим?

– Как вам сказать? В голове у него, точно, ветер гуляет; но каши этой мозговой там более, может статься, чем у иного взрослого полоумка. А уж начитан как! Чего-чего не перечитал! И «Илиаду», и «Одиссею», и Плутарха от доски до доски, и новейших энциклопедистов...

– Гм... На каком же это все языке?

– А все, конечно, на французском. Раненько, может быть, да что против жажды знания поделаешь? У отца его, извольте видеть, так же как и у покорнейшего вашего слуги, библиотека на славу. – Александр, поди-ка сюда! – крикнул Василий Львович по-французски. – Не разрешите ли, ваше высокопревосходительство, познакомить с ним молодцов ваших?

– Что ж, пускай знакомятся: после все равно придется же. Экие дички, право! Руку-то друг другу хоть подайте!

Мальчики исполнили приказание и застенчиво обменялись несколькими общими фразами. Одно узнал при этом молодой Пушкин, что новые знакомцы его были между собой двоюродные братья и что одного из них – того, с которым он на лестнице переглянулся, – звали Иваном, а другого Петром.

Сидевший поблизости шустрый, востроглазый мальчуган с большим вниманием следил за завязывавшимся между тремя сверстниками его знакомством; шепнув сидевшей рядом с ним даме: «Я, мама, тоже отрекомендуюсь», – он раз-

вязно подошел к ним и шаркнул ножкой.

– Позвольте и мне отрекомендоваться: Константин Гурьев.

Пушкин медлил принять протянутую ему руку и с безотчетным недоверием оглядел навязчивого мальчугана. Но тот на вид был очень приличен: платье с иголки, сам причесан, приглажен, даже надушен; как в голосе его, так и в чертах лица, во всех движениях была одна и та же игривая мягкость. Только чересчур юркие глазки то и дело потуплялись и бегали по сторонам, точно не смели открыто встретить испытующего чужого взгляда.

«Кошечка», – невольно подумалось Пушкину.

Разговориться им, впрочем, теперь не пришлось: возвратившийся от министра чиновник пригласил старика Пущина к его сиятельству Алексею Кирилловичу, и тот в сопровождении двух внуков удалился.

Василий Львович воспользовался этим, чтобы подвести племянника к своему прежнему собеседнику, молодому генералу, оказавшемуся князем Горчаковым, и к его подростку-сыну, который был не только писанный красавец, но имел такое благородное, славное лицо, что нельзя было не залюбоваться.

«Вот ангельская душа, сейчас видно, – сказал сам себе Пушкин, – не то, что этот Гурьев».

А Гурьев был уже тут как тут, с тою же, словно заученной фразой:

– Позвольте и мне отрекомендоваться: Константин Гурьев.

На этот раз ему более посчастливилось: маленький Горчаков отвечал ему доверчиво и охотно, а Гурьев за словом в карман не лез. Пушкин увидел себя совсем оттертым и был даже рад, когда дежурный чиновник стал теперь выкликать их по списку. Разговоры кругом поневоле прекратились; каждый выкликаемый по очереди выступал вперед и отзывался: «Здесь!»

– Кюхельбекер, Вильгельм!

– Здесь! – пробасил с резким немецким акцентом долговязый юноша, нескладно, но крепко сшитый.

Пушкин не мог не усмехнуться. Но тут он расслышал, как Гурьев, наклонясь к Горчакову, тихонько подтрунил: «По Сеньке и шапка – прямой Кюхельбекер!» – и Пушкину уже досадно стало на насмешника:

«Показала, небось, кошечка когти!»

– Пушкин, Александр!

– Здесь! – откликнулся он каким-то не своим, металлически-звонким голосом и, сам не зная зачем, выскочил на середину залы.

Со всех сторон на него обратились удивленные взгляды; он смешался и еще поспешней отступил назад. А Гурьев опять-таки наклонился к уху Горчакова и с лукавой улыбочкой нашептывал ему что-то.

«Верно, про меня! – догадался Пушкин. – Вот и царап-

нул!»

Он на ходу круто повернул налево-кругом и отретировался к Дельвигам.

Перекличка кончилась. Решительная, неизбежная минута приблизилась, сейчас должна была наступить. В ожидании ее, в последний миг все языки развязались, все громко заговорили, зашевелились. И вдруг, как по мановению волшебного жезла, все точно так же опять смолкло, замерло: одного из мальчиков дежурный чиновник вызвал в экзаменационный зал.

Глава III

Экзамен

*Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь:
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть.*

Евгений Онегин

Над министерскою приемной нависла, казалось, грозовая туча: разговоры велись уже только втихомолку; взоры всех – и старых и малых – были неотступно прикованы к роковой двери, которая поочередно поглощала экзаменующихся мальчиков и выпускала их затем одного за другим, как из бани, встрепанными и ошпаренными.

Вот очередь дошла и до барона Дельвига; Пушкин вздохнул ему вслед. Напрасно крошка-баронесса пыталась возобновить с молодым земляком-москвичом свою детскую болтовню: он отвечал рассеяннo и невпопад. По спине его забегали мурашки – первый приступ предсказанной Василием Львовичем «боевой лихорадки». Наконец министерская дверь опять распахнулась, и на пороге показался молодой барон...

Но, Боже праведный, что с ним такое? Идет повесив го-

лову, еле ноги волочит...

– Тося! – жалобно вскрикнула сестричка, бросаясь через всю комнату к нему навстречу. – Неужели провалился?

– Потише, Мими... – уклонился он от ответа и вернулся об руку с нею к своему месту, стараясь не глядеть на Пушкина.

– Так что же, скажи: выдержал или нет? – не отставала от него малютка.

– Кажется, что нет... – проговорил он нехотя, беззвучно. Мими прослезилась и протянула к брату ручонки, чтобы обнять его.

– Ну ничего, Тосенька, голубчик: мама ведь добрая, не рассердится.

Пушкина так заняла эта сцена, что он и не расслышал, как вошедший вслед за Дельвигом чиновник произнес фамилию его, Пушкина.

– Так что же, Пушкина, стало быть, нет? – повторил, озираясь кругом, чиновник.

– Александр! Тебя зовут, не слышишь разве? – крикнул по-французски Василий Львович, подсакивая к племяннику, и тронул его за плечо. – Первое условие, дружок: не падать духом.

– Дай вам Бог большего успеха, – пожелал Александру с своей стороны и Дельвиг, заглядывая ему теперь прямо и дружелюбно в лицо.

– Благодарю вас, – пробормотал тот в ответ и с напускною

удалью, широко размахивая руками, последовал за чиновником в раскрытую курьером настежь дверь.

Как ни храбрился Пушкин, но, подходя к поставленному поперек зала большому, покрытому зеленым сукном столу, за которым восседали экзаменаторы, он точно не чувял уже ног под собой, и сквозь заволакивавший ему глаза туман не мог хорошенько различить ни одного лица. Инстинктивно только чувствовал он, что сделался вдруг центром, на который направлены десятки испытующих глаз, и что лучи их словно жгут, магнетиизируют его; нервы его натянулись, как струны, до последней степени.

– Не родственник ли вам писатель Пушкин? – слышался тут чей-то ласковый старческий голос.

Не успел Александр ответить, как другой, будто знакомый уже, голос отозвался вместо него:

– Точно так, ваше сиятельство, родной дядя.

Александр сделал сверхъестественное усилие над собой, мигнул раз-другой, расширил зрачки – и разглядел говорящих: прямо против него, на расстоянии не более полутора аршина, сидел важный седовласый старик, грудь которого была усеяна звездами; очевидно, то был не кто иной, как сам министр, граф Алексей Кириллович Разумовский; по правую же руку от него сидел тот, голос которого показался Александру знакомым, и в котором он признал теперь нового директора лицея, Василия Федоровича Малиновского, раза два уже виденного им по приезде из Москвы. О, этот

добряк его не выдаст! И в ушах Пушкина прозвучало опять напутствие дяди: «Первое условие – не падать духом!»

– Да, я его племянник, – ответил он в свою очередь довольно уже бойко.

– В таком случае вы, конечно, знаете и других русских литераторов? – продолжал министр.

– Еще бы! – оживленно подхватил мальчик. – Дмитриев, Карамзин, Жуковский, Батюшков – у нас в доме свои люди...

– Не о личных ваших знакомствах речь, – сухо оборвал его граф. – Вообще примите за правило, молодой человек: выслушивать старших до конца, не прерывая. Итак, я спрашиваю вас: читали вы произведения наших лучших писателей?

Выслушанное внушение умерило первую прыть мальчугана. Он смутился и ответил сдержанно, хотя и не без тайного самодовольства:

– Кажется, все перечел.

– Все, без разбора?

– Да, все вообще, что есть интересного в библиотеке моего отца, а библиотека у него в тысячу с лишком томов!

– И вам не было запрету брать оттуда все, что заблагорассудится? Странные, однако, порядки у вас в доме... Но если вы все перечитали, – продолжал Разумовский, и насмешливая улыбка заиграла на его тонких губах, – то любопытно знать, кого вы почитаете первым русским поэтом? Вероятно, вашего дядю?

Пушкин вспыхнул, но, по-прежнему сдерживаясь, сказал

просто:

– И у дяди моего есть прекрасные стихи. По времени первым поэтом русским надо считать Ломоносова...

– А про Кантемира, небось, и забыли или не слышали?

– Кантемир не поэт: у него рубленая проза.

– Вот как!

– Не я один это говорю: я от многих слышал. По качеству же стихов первым поэтом хотя и принято у нас считать Державина, но стих у него чересчур уж напыщен, у Жуковского, у Батюшкова он гораздо натуральнее и благозвучнее...

– Каков критик! – с снисходительным пренебрежением заметил министр. – С чужого, знать, голоса поет. Господин профессор! Не угодно ли вам теперь приступить к допросу?

Один из экзаменаторов покорно преклонил голову и обратился к Пушкину:

– Вы, прочитав малую толику, запомнили, несомненно, кое-что и наизусть?

– Очень многое.

– Например... ну, хоть бы карамзинскую «Марфу Посадницу»...

– Прочитать?

– Прочитайте, только с подобающей интонацией и экспрессией, не глотая слова и запятых.

– «Раздался звук вечевоего колокола, – начал „подобающим“, неспешным и торжественным голосом Пушкин, – и вздрогнули сердца в Новгороде. Отцы семейств вырывают-

ся из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на великую площадь...»

Профессор движением руки остановил маленького декламатора.

– Начало, конечно, кому не известно, – сказал он. – А помните ли вы художественное описание появления Марфы среди народа?

– «Еще продолжается молчание, – не задумываясь, задекламировал опять Пушкин. – Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: „Марфа, Марфа!“ Она входит на железные ступени тихо и величаво; взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует... Важность и скорбь видны на бледном лице ее...»

Пушкин, как следует, на минуту здесь замолк, чтобы дать слушателям взглянуть в воссозданную им перед их внутренним взором картину.

– Вот это музыка слов, истинная поэзия, хотя и в прозаической форме! – воскликнул граф Разумовский. – Память у вас довольно счастливая, надо сознаться, и читаете вы весьма и весьма сносно.

– Не позволите ли, ваше сиятельство, перейти к грамматике? – обратился к нему экзаменатор.

– Извольте.

– Пожалуйте-ка, молодой человек, к доске.

Пушкин подошел к саженной доске и вооружился мелом.

– Вы, как юнец, отдавали только что предпочтение перед маститым нашим поэтом-исполином Державиным юному поколению поэтов, не достойных подвязывать и ремни на сандалиях его. Я продиктую вам такие перлы его музыки, каких вы ни у кого из иных прочих со свечой не сыщете. Пишите:

Спустил седой Борей Эола
С цепей чугунных из пещер...

– Я и так знаю, – подхватил мальчик, —

Ужасны крылья расширяя,
Махнул по свету богатырь...

Стихи звучные, но все-таки, по моему мнению...

– Вашего мнения не спрашивают! Извольте писать!

Александр крупным детским почерком, косым и небрежным, живо исписал всю доску сверху донизу четырьмя приведенными строками.

– В правописании вы слабы, – заметил профессор и указал пять-шесть орфографических ошибок, после чего задал еще несколько грамматических вопросов. Ответы точно так же были довольно сбивчивы и нетверды.

Между тем директор Малиновский, как видел издали Пушкин, наклонился с просительной миной к министру, и тот, кивнув головой, громко объявил:

– Начитанность ваша отчасти вас еще выручает. Посмотрим, каковы ваши познания в иностранных языках. Начнем с немецкого.

Пушкин оторопел.

– Нельзя ли мне отвечать из одного французского?..

– А немецкого вы, значит, совсем не знаете?

– Совсем! – брякнул он, чтобы только поскорее развязаться.

– Гм... И читать даже не умеете?

– Читать, конечно, умею.

– Так вот прочтите.

Мальчик из поданной ему немецкой книжки прочел довольно бегло несколько строк.

– Ну, этого на первый раз, пожалуй, и достаточно, – смиловился министр и отнесся по-французски к сидевшему тут же за столом маленькому старичку в напуденном парике: – Мосье де Будри! Не соблаговолите ли теперь вы?..

Де Будри, несмотря на свои преклонные лета, чрезвычайно живой и подвижный, вертя в пальцах черепаховую табакерку, предложил Пушкину простой грамматический вопрос, но предложил по-русски, уморительно коверкая слова. Пушкин, с трудом подавляя улыбку, отвечал ему без запинки на самом чистом парижском наречии. Француз весь так и встрепенулся и не замедлил сам перейти на свой родной язык.

– А! Так вы, милый мой, читали, быть может, и наших

великих классиков?

– Расина, Корнеля, Мольера? – переспросил Александр. – Читал, так же как и философов Руссо, Вольтера...

– Руссо и Вольтера! – вырвалось у графа Разумовского, и он многозначительно переглянулся с присутствующими. – Тоже, видно, брали без спроса из библиотеки отца?

– Да...

– Будем надеяться, что вы их хотя бы наполовину не поняли.

– Ну, Расин, Корнель и даже Мольер безвредны, – вступился мосье де Будри.

– Я умею читать Мольера и на разные голоса, – вызвался ободрившийся опять Пушкин.

– О! О! На разные голоса! Не разрешите ли, ваше сиятельство, прочесть ему нам для образчика какую-нибудь мольеровскую сценку?

– Отчего же, пускай прочтет. Выбор пьесы, молодой человек, мы предоставляем вам.

Особенно глубоко запечатлелся в памяти Александра один любимый его отцом и дядей мольеровский диалог. Он слышал его столько раз, что помнил не только обе роли от слова до слова, но и самое выражение голоса обоих. Точно записной импровизатор, охваченный вдохновением, он забыл, казалось, даже где он и, без всякой уже робости, передал диалог почти безупречно.

– Бесподобно! Изумительно! Не правда ли, милостивые

государь, – воскликнул по-французски де Будри, озираясь кругом с таким торжествующим видом, точно он сам так блистательно подготовил молодого импровизатора. – После такой аттестации, ваше сиятельство, я полагаю, было бы просто грешно испытывать его в грамматических мелочах. А незнание немецкого языка более чем извинительно.

Профессор немецкой словесности, человек еще молодой, но строгого и неприступного вида, начал было протестовать; но министр, не желая затягивать экзаменовку по другим предметам, принял сторону де Будри.

По географии и истории повторилось то же, что и по русскому языку: сбиваясь в некоторых, самых элементарных вопросах по физическому описанию земли, не зная твердо ни одного года исторических событий, Пушкин так осмысленно, с таким увлечением передавал разные любопытные подробности нравоописательные и политические, что сам граф Разумовский не скрыл своего одобрения.

– Что вы учили по обязанности, то усвоили плохо; что читали без спроса, то усвоили прекрасно, – сказал он и, обернувшись к директору Малиновскому, прибавил вполголоса: – Я рекомендовал бы вам, сударь мой, обратить на сего птенца особенное ваше внимание: он сколь необуздан, столь и даровит. В арифметике он, я уверен, всего слабее.

Граф не ошибся. Сухая цифирь, требующая сосредоточенного внимания, была для богатого фантазией, но бедного терпением начинающего поэта всегда непреодолимым кам-

нем преткновения. Написав на доске мелом продиктованную ему задачу, он как только приступил к ее разрешению, так и перепутал. Тщетно профессор математики, по-видимому также расположенный в пользу мальчика предшествовавшими удачными его ответами, пытался навести его на истинный путь: Пушкин, точно в дремучем, топком бору, забирался все глубже в непроходимую трясину, пока совсем не завяз; тогда он безнадежно опустил голову и положил мел.

– Нет, не умею...

– Довольно! – решил министр.

– Дозвольте мне, ваше сиятельство, предложить ему еще только один-другой теоретический вопрос, – вступился профессор, – задачка, пожалуй, была для него не в меру замысловата-с...

– Довольно! – повторил граф и внушительно кивнул головой Пушкину на дверь.

До последней минуты неизвестность будущего поддерживала еще Александра, как утопающего над бездонной топью. Теперь все кончилось бесповоротно: неумолимая судьба придавила его тяжким гнетом и потянула в темную глубь. С невыносимой тяжестью этою на сердце, с отуманенною головой, сам не зная как, он выбрался в приемную и машинально поплелся к своему месту. Дельвигов уже не было; зато перед ним, как лист перед травой, вырос Гурьев и любезно осведомился:

– Можно поздравить?

– Да! И вам того же желаю! – буркнул в лицо ему Пушкин и круто повернулся к Василию Львовичу, также в это время подошедшему к нему: – Бога ради, уйдемте, дядя...

– Куда же ты? Скажи мне, по крайней мере...

– Потом все расскажу... Уйдемте только...

– А с будущими товарищами-то ты так и не простишься?

– Не будут они мне товарищами...

И, не дожидаясь дяди, Александр опрометью выбежал на лестницу. Василий Львович, пыхтя, едва нагнал его уже на второй площадке.

– Ты, стало быть, срезался, мой друг?

– Стало быть.

– Из чего же?

– Из арифметики.

– Только-то?

– Кажется, довольно!

– Ну так не все еще пропало, не кручинься. Уломаем Ма-линовского, чтобы дал тебе переэкзаменовку; а не даст – по-добьем Тургенева: уж этот, как добрый волшебник в сказке, так ли, сяк ли выручит.

Глава IV

Молодое вино бродит

*Как ты шалишь, и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!*

К Языкову («Языков, кто тебе внушил...»)

Точно ли Тургенев, этот «добрый волшебник», по выражению Василия Львовича, поспособствовал опять благоприятному исходу дела – осталось неизвестным; о своем содействии он никому никогда не заикался. Как бы то ни было, только после нескольких дней томительного ожидания Василий Львович привез племяннику от директора Малиновского радостную весть, что он, Александр, попал-таки в число 30 счастливцев, выбранных в лицах самим министром из 38 экзаменовавшихся.

– И без переэкзаменовки? – встрепнулся Александр, отрываясь от арифметики, над которой все эти дни он, по настоянию дяди, по целым часам корпел или, вернее, зевал.

– Без переэкзаменовки, – отвечал Василий Львович, – но Малиновский все же рассчитывает, что ты до переезда в Царское хорошенько повторишь зады...

– Так он ошибся в расчете! – воскликнул ветреник, и

ненавистная ему учебная книжка со всего размаха полетела на другой конец комнаты, где, ударившись об стену, шлепнулась плашмя на пол. — Видите, где она лежит теперь? Там до Царского и пролежит.

— Ну, поднять-то все-таки не мешает, — благодушно сказал Василий Львович, поднимая книгу с полу и кладя ее на стол. — После, может, одумаешься. До начала классных занятий пройдет еще немало времени; государь отвел для вас целый флигель своего царскосельского дворца, а ведь его надо еще приспособить: раздвинуть стены, переставить печи, перестлать полы, все заново перекрасить, пообчистить...

— Экая досада, право! А я уж радовался, что сейчас познакомлюсь кой с кем из товарищей...

— Одно другому не мешает. Малиновский велел передать тебе, что он ожидает всю вашу братию завтра утром к себе на квартиру для примерки казенной амуниции; там и сведешь знакомство, с кем пожелаешь.

И точно: на другой же день, а потом еще несколько раз лицеисты собирались для указанной цели на квартире директора. Затем, когда тот отбыл 1 сентября в Царское Село с чиновниками лицейского правления для наблюдения на месте за ремонтными работами, роль хозяина в доме принял старший сын его, Иван, также лицеист, но лет уже 15-ти, вследствие чего товарищи относились к нему с некоторым уважением.

А как было весело на этих сходках! Сколько было тут хо-

хота и шуток, когда примериваемое казенное платье или сидело мешком, или же, напротив, не сходилось на груди, а стоячий красный воротник был так широк и высок, что можно было уйти в него с подбородком до самых ушей. Как было потешно надевать перед зеркалом треуголку по-наполеоновски, поперек головы, или в высоких лакированных ботфортах с петушиной важностью расхаживать взад и вперед по всему ряду комнат, — благо самого хозяина не было налицо!

Одна только капля дегтя отравляла им эту бочку меда: до формального открытия лица им было строго воспрещено щеголять во всей новой красе своей вне дома.

Все мальчики, которых Пушкин успел мельком узнать до экзамена в приемной министра, оказались принятыми; только из двух Пушиных одному пришлось отказаться от лица, — не потому, чтобы он не выдержал испытания, а потому, что граф Разумовский хотел возможно большему числу «знатных» семейств открыть доступ в новое привилегированное заведение и предоставил адмиралу Пушину одну только вакансию для обоих его внуков с тем, чтобы он сам выбрал из них в лицей любого. Выбор пал на Ивана Пушина, т. е. на того самого, который более приглянулся Пушкину. И вот при первом же расставании на квартире директора Пушкин зазвал его к себе.

— Не зайдете ли вы когда-нибудь вечером? Пожалуйста!
— «Вы?» — переспросил Пущин и взглянул Пушкину в глаза так открыто и доверчиво, что тот невольно покраснел.

– Ну, «ты», – поправился Пушкин. – Тут недалеко... (он сказал адрес). Зайдешь?

– С удовольствием.

– И мне можно? – раздался позади их вкрадчивый голос. Оказалось, что то был голос подслушивавшего их Гурьева.

Хотя последний по своей деланной любезности и навязчивости и не особенно был приятен Александру, но так как в то же время своею неизменною игривостью и веселостью он оживлял всякое общество, то Пушкин не задумался изъяснить свое согласие.

– Сделай одолжение. Чем больше нас будет, тем лучше.

– Так и Ломоносова привести можно? Он добрый малый!..

– Конечно, приведи.

Пушкин охотно пригласил бы еще и барона Дельвига, и князя Горчакова, но те проводили осень у родных на даче: один – в Петергофе, другой – где-то еще дальше.

Так еще до поступления в лицей Пушкин сошелся с тремя названными товарищами и с сыном директора Малиновского, который нередко также навещал его. Но более тесные, дружеские отношения у него установились только с Пушковым, с которым он видался почти ежедневно то на дому, то в Летнем саду.

Василий Львович не хотел вернуться в Москву до окончательного водворения племянника в стенах лицея; он не раз нанимал лодку и возил маленьких приятелей на острова. Первая из таких поездок, устроенная вскоре после экза-

мена в ознаменование его благополучного исхода, осталась особенно памятной всем участникам.

Вечер был тихий, ясный; настроение всех – самое праздничное. Лодочника не взяли, потому что и без него в ялике было куда тесно от пяти человек лицеистов и толстяка Василия Львовича. Да в помощи его и не нуждались: мальчишки чуть не дрались из-за весел и гребли наперерыв.

Пока они плыли еще Мойкой и Крюковым каналом, юной удали их негде было развернуться. Но, выбравшись раз из подземного рукава Крюкова канала, из мрака, сырости и духоты, в Большую Неву, на солнце, простор и воздух, они вздохнули вольной грудью, и, когда тут Василий Львович затянул густым, звучным баритоном: «Вниз по матушке по Волге», все пятеро лицеистов разом подхватили своими звонкими отроческими альтами, – и понеслась стародавняя песня, правда, не совсем стройно, но очень одушевленно, над сверкающей зыбью реки.

– Вы бы, Гурьев, немножко полегче, – ласково заметил Василий Львович, – у вас слуха-то, кажется, совсем нелагается.

А живчик-племянник уж вскочил со скамейки и энергически замахал такт рукой над головами хора:

– Дружно! Дружно!

Ничего в волнах не видно.

Улыбаясь пылкости самозванного капельмейстера, но все-таки повинаясь движениям его руки, хор, в самом деле, за-

пел как будто согласней. Когда, наконец, в воздухе замерли последние звуки песни, Александр, под впечатлением охватившего его порыва, простер руки к солнцу и воскликнул:

– А славно жить на свете, господа! Так бы сейчас и обнял весь мир!

– И бухнул бы вместе с ним в воду, – досказал дядя, стараясь привести в равновесие ялик, который так и качался с боку на бок под ногами непоседы-племянника. – Умерь свой телячий восторг и садись-ка лучше.

– Сегодня, дяденька, мой день! Вы хоть и пригласили нас, но я плачу и за ялик, и за угощение!

– Из каких это благ?

– Ну, столько-то у меня найдется; а ежели бы не достало, то у вас достанет.

– Ага!

– Нет, дядя, я говорю не о ваших собственных деньгах, а о тех, что вы взяли у меня на хранение.

– Я – взял? Перекрестись! Когда это?

– Да неужто вы забыли? Бабушка Варвара Васильевна и тетушка Анна Львовна⁹ подарили мне на орехи перед отъездом нашим из Москвы сто рублей, а вы дорогой отняли их у меня. Игнатий может засвидетельствовать это.

– А! Да... – замялся Василий Львович. – Ну, братец мой,

⁹ Варвара Васильевна Чичерина – сестра родной бабушки Александра Сергеевича со стороны отца, Ольги Васильевны Пушкиной, урожденной Чичериной; Анна Львовна Пушкина – сестра Василия и Сергея Львовичей.

возвращать их тебе целостью, я вижу, опасно, потому что ты сейчас готов растратить.

– Но они мне могут понадобиться в Царском...

– Царское еще впереди, а теперь тебе их не видать, как своих ушей.

Возвратил ли когда-нибудь впоследствии племяннику донельзя забывчивый Василий Львович эти сто рублей – неизвестно; знаем мы только из письма Александра Сергеевича к князю Вяземскому, написанного четырнадцать лет спустя, что к тому времени деньги все еще не были возвращены.

Спустившись вниз по Неве на взморье, наша веселая компания обогнула Галерную гавань, завернула в Малую Невку и высадилась на Крестовском острове. Минут десять спустя она сидела уже в тенистом садике известного тогда ресторана, которого в наше время и в помине нет, так как процветавший некогда Крестовский теперь решительно забыт и заброшен.

– Так, стало быть, мы можем сегодня пороскошничать на твой счет? – насмешливо спросил Василий Львович племянника.

– Можете и даже прошу.

– Слышите, господа? Он просит вас не стесняться в депансах. Эй, человек! Мне, первым делом, две дюжины устриц и бутылку клико! Да льду, чур, не забыть.

Вскоре за столом завязалась самая задушевная, шумная полудетская, полуюношеская беседа. Оживлению ее немало

способствовало и замороженное шампанское, которое Василий Львович разлил по бокалам из потребованной им сперва одной, а потом и второй бутылки. По тонкой самодовольной улыбке, не сходявшей с его благодушного лица, легко было догадаться, что про себя он давно уже решил потешиться только над расточительным племянником и, в конце концов, все «депансы» по сегодняшнему угощению покрыть из собственного кармана.

Александр же в качестве хозяина был особенно развязен и весел. Щеки его горели, глаза искрились; он был, что называется, в ударе: шутил, острил и то и дело заливался самым искренним смехом, показывая сплошной ряд своих чудных белых зубов.

Пушин невольно на него загляделся и заметил:

– А веселость тебе, Пушкин, очень к лицу.

– Юный Вакх! – пояснил Василий Львович. – Только бы увить ему кудри цветущим плющом и виноградом... Никто из вас, господа, я чай, и не поверит, что сей самый попрыгун и живчик на первой заре жизни, сиречь до семи лет, был неповоротливый пузан и медвежонок.

– Ну? Не может быть! – удивились товарищи Александра.

– Дядя преувеличивает, – отозвался племянник.

– Преувеличиваю? Шила, брат, в мешке не утаишь! Уж кому, как не мне, знать тебя с молодых ногтей? Расскажу вам, государи мои, в назидание только следующий случай. В одно прекрасное утро матушка нашего героя разрядила свое-

го первенца, как куколку, и повела гулять. Медвежонок же с первых шагов устал и, как раз когда приходилось перейти улицу, категорически заявил свое решение:

– А я, мама, сяду.

Мама, понятно, так и ахнула.

– Куда сядешь? Боже тебя упаси!

Молодчик, между тем, привел уж в исполнение свое решение: преспокойно уселся посреди улицы, – благо, было сухо; но зато как сел, так вокруг него столбом пыль взвилась. А тут, как на беду, всю эту сцену видела из окошка ближнего дома какая-то дама и от души расхохоталась. Александр вломился в амбицию, окрылся и на всю улицу крикнул ей:

– Нечего зубы-то скалить!

На этом месте рассказ Василия Львовича был прерван громогласным хохотом слушателей-лицеистов. Сам герой рассказа, Александр, чтобы скрыть свое смущение, хохотал чуть ли не громче всех и залпом осушил свой бокал.

– Я советовал бы тебе, Александр, не пить больше, – предостерег его дядя, – ты так полнокровен...

– Что ж из того? – легкомысленно возразил Пушкин, откидывая назад голову.

– А то, дружище, что в возбужденном состоянии ты нам здесь, пожалуй, учинишь еще пущий афронт, чем уважаемой матушке. Можете вообразить себе, господа, как сконфузила вышеописанная выходка сына столь блестящую и гордую барыню, какова известная всему высшему кругу

Белокаменной Надежда Осиповна Пушкина! Она готова была, как сама мне потом признавалась, сквозь землю провалиться и, разумеется, с того самого раза никогда уж его с собой гулять не брала. Вообще я должен относительно матушки его доложить вам...

– Оставьте, пожалуйста, дядя, маменьку мою в покое! – отрывисто и глухо пробурчал, весь вспыхнув, Александр и, уткнувшись в тарелку, с ожесточением принялся резать и набивать себе за обе щеки поданную ему котлетку.

– Да картина, любезнейший мой, не была бы полна...

– Ни слова больше! – перебил, задыхаясь уже, племянник. – А не то...

– Что?

– Я... я совсем уйду отсюда...

– Ну, ну, не буду. «Чти отца твоего и мать твою» – гласит пятая заповедь Господня.

И Василий Львович ласково стал гладить курчавую голову мальчика, приговаривая:

– Паинька-заинька!

Но такое детское обращение, да еще в присутствии товарищей, было чересчур обидно для нашего поэта-лицеиста. Он бросил на тарелку нож и вилку и разом отодвинулся от стола.

– Это уже слишком!..

– Нет, голубушка, по головке-то тебя, хочешь, не хочешь, а погладим, – не унимался дядя. – Господа! Подержите-ка

его!

Вот это, действительно, было «уж слишком». Александр увернулся от протянутых к нему рук, опрокинул при этом стул, на котором сидел, и бросился вон, прижимая к глазам платок.

– Да он, сумасшедший, в самом деле удерет! – не на шутку всполошился дядя. – Бегите за ним, господа, верните его...

Пушин пустился в погоню и, нагнав беглеца у выхода из сада, остановил его.

– Куда же ты, Пушкин?

– Пусти! – со слезами в голосе проговорил тот, пряча платок и отталкивая Пушину.

– Если домой, то ведь ты и дороги-то не знаешь, – продолжал убеждать Пушин. – Заблудишься ночью. Бог знает, куда попадешь, а в лодке преспокойно доехал бы опять в компании.

– Ну да! Хороша компания дяди! Ты видел... Он воображает, что я все еще малютка...

– Да пойми же, что он смотрит на тебя как на своего сына, что он только пошутил!

– Шутка шутке рознь, и всякому терпению есть конец. Последняя его шутка была последнею каплей... но она переполнила чашу...

– Последнею каплей, мне кажется, был именно тот лишний глоток шампанского, от которого он раньше предостерегал тебя, – возразил шутливо Пушин. – А уйдешь теперь, так

ведь он, пожалуй, подумает, что ты не хочешь расплатиться, как обещал.

– Так вот – на, возьми мой кошелек...

– Нет, брат, не возьму; я в ваши семейные счета не мешаюсь.

В это время к двум приятелям подошел Малиновский.

– Где же вы запропалились, господа? Мы собираемся играть в кегли.

– Я не играю! – отказался Пушкин.

– Ну, так посмотри хоть: глядя, может, не удержишься, сам станешь играть.

– Да что с ним долго растабаривать, – решил Пушин, – нейдет доброй волей, так поведем силой! Ты, Малиновский, бери-ка его оттуда, а я – отсюда.

И, подхваченный под руки с обеих сторон, Пушкин, почти уже не сопротивляясь, даже смеясь сквозь невысохшие еще слезы, направился со своими провожатыми к кегельбану.

Глава V

Молодое вино бурлит

*Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!*

«Руслан и Людмила»

Наступил если не полный мир, то продолжительное перемирие. Четверо товарищей Пушкина, сбросив сюртуки и засучив рукава, с юношеским азартом предались треволнениям кегельной игры. Василий Львович не играл; вооружившись бокалом, он уселся на барьере кегельбана и, болтая по воздуху своими короткими ножками, делал игрокам дельные замечания, а в случае пререканий между ними – служил посредником-экспертом. Племянник, не совсем еще успокоенный, прислонился к столбу позади дяди и своими быстрыми глазами неотступно следил за игрою товарищей, не особенно умелою, но чрезвычайно одушевленной. Шары с треском и гулом катились вниз по галерее и с грохотом вторгались в расставленный на другом ее конце треугольник кеглей. Если кому удавалось хорошенько разгромить треугольник, то ловкость его награждалась общим возгласом одобрения; если же кто давал промах, то его осмеивали беспощадно.

– Этак-то и я сумею! – после одного такого промаха на-

смешливо заметил из-за своего столба Пушкин.

– Так что же, дружок, попробуй! – оглянулся на него дядя. – Век живи, век учись.

– Не хочу!

Однако веселость играющих была так заразительна, что когда после двух сыгранных партий Александра опять пригласили, он не только не стал отнекиваться, но даже счел нужным заявить:

– В кегли я, положим, не играл, но на бильярде играю, и очень даже недурно.

– Гречневая каша сама себя хвалит, – заметил соседу вполголоса Гурьев.

– Что?

– Глухим двух обеден не служат. Кидай, брат, кидай!

Пушкин по примеру прочих ухарски засучил рукав, смочил ладонь о влажную губку, взял шар и, раскачивая его, отступил на два шага.

– Внимание, господа! – крикнул под руку Гурьев. – Первый пробный, но мастерский шар!

Пушкин в это время разбежался и, размахнувшись, не мог уже удержать шара. От неопытности или от того, что Гурьев «сглазил под руку», увесистый шар вырвался из обхватывавшей его маленькой руки на полсекунды ранее, чем бы следовало, ударился о борт и покатился вдоль барьера, не задев ни одной кегли.

Понятно, что после предшествовавшей похвальбы игрока

такая его неудача не обошлась без взрыва хохота окружающих. А Гурьев опять-таки не преминул подтрунить:

– Видели, господа? Вот у кого бы нам поучиться! Почему берешь за урок, Пушкин?

– Недорого, – был ответ, – здоровую плюху, если ты хоть слово еще пикнешь!

Угроза была сделана так задорно, что Гурьев даже побледнел, а прочие товарищи, видимо, были неприятно поражены грубостью Пушкина. Тут дядя его нашел нужным выступить в своей роли посредника.

– Ты – ужасный петух, Александр, – заметил он ему по-французски, – от друга-то можно бы, кажется, снести шпильку.

– Во-первых, он мне не друг, – огрызнулся по-французски же Александр, – а во-вторых, я никому не позволю таких шпилек...

– Француз! – послышался чей-то голос.

Пушкин мигом обернулся.

– Кто это бранится? Опять ты, Гурьев?

А тот уже схоронился за чужой спиной и оправдывался самым невинным тоном:

– И не думал... Господь с тобой! Что же, господа, будем мы еще играть или нет?

Игра возобновилась. Пушкин продолжал дуться, но в то же время бросал шар очень старательно, так что раз свалил даже восемь кеглей.

– А? Что? – обратился он к Гурьеву. – Гречневая каша даром, что ли, хвалилась?

– Да всех девяти штук ты все-таки не свалил!

– И ты не свалил.

– Захочу – свалю.

– Как же!

– А вот, гляди.

По какой-то счастливой или, вернее, несчастной случайности Гурьеву на этот раз в самом деле удалось свалить все девять кеглей, и он, ликуя, закружился на каблуке.

– Ай да я! Чья взяла, а?

Но торжество его было непродолжительно. Пушкин, не в силах уже сладить с собой, подступил к нему со стиснутыми кулаками, с трясущейся нижней челюстью и собирался что-то сказать; но непослужные губы его издали только какой-то детский лепет:

– Ва-ва-ва...

– Ва-ва-ва! – передразнил зазнавшийся Гурьев.

Клокотавшая в жилах Пушкина кровь ударила ему в голову, затуманила ее; не помня себя от гнева, он поднял на насмешника руку; но, к счастью, один из товарищей успел вовремя отвести удар, так что задорный кулак только слегка скользнул по плечу Гурьева. Этот до того перепугался, что расплакался навзрыд, как малый ребенок. Пушин же проворно подхватил забияку под руку и увел в глубь сада.

– Помилуй, Пушкин, что ты делаешь? – урезонивал он

его, шагая с ним рука об руку по темной аллее. – Положим, Гурьев тоже виноват; но ты видел сейчас, какой он нюня, точно старая баба: так стоит ли из-за него портить себе кровь? А главное, не забудь: ведь нам битых шесть лет придется высидеть вместе с ним в лицее.

– Все это я очень хорошо понимаю, – сознался со вздохом Пушкин, – но что поделаешь со своей дикой натурой? Я все равно, что горячая лошадь: раззадорили ее – и кончено! Готова сломя голову лететь через рвы и канавы в первую пропасть.

– Как это в тебе уживаются вместе такое безумство и такой ум? – заметил Пущин. – А ума у тебя очень много, более, чем у кого из нас...

– Вот вздор! Я, может быть, прочитал только немножко больше книг...

– Не немножко, а в десять раз больше, поэтому ты и развитее нас. Мы с Малиновским уж толковали об этом, и он совершенно согласен со мной.

– Да разве я когда-нибудь важничал перед вами?

– Напротив: уму и познаниям своим ты точно не придаешь никакой цены. Зато в пустяках ты страшно самолюбив: никак не можешь простить, если кто-нибудь перещеголяет тебя в физической силе или ловкости. Ведь правда?

– Правда, и уж из этого одного, Пущин, ты видишь, что я совсем не умен, а глуп.

– Нет, не глуп, а только – как ты сам сейчас сказал – дик,

горяч. Теперь вот ты успокоился и прекрасно понимаешь, что погорячился. Знаешь ли, что я сделал бы на твоём месте?

Юные приятели вышли в это время из тенистой аллеи обратно на открытую площадку перед рестораном, и последний отблеск потухающей зари отчетливо осветил лицо Пушкина, вполовину обращенное к собеседнику. В выразительных чертах его прежнее угрюмое упрямство уступило место искреннему раскаянию; на ресницах его сверкали слезы.

– Знаю! – сказал он и без оглядки побежал к кегельбану. Тут, подойдя сзади к Гурьеву, он опустил ему на плечи руки и шепнул на ухо:

– Прости меня... забудь, пожалуйста...

Трусишка Гурьев никак, по-видимому, не ожидал, что гордец Пушкин сам придет к нему с повинной, и в первую минуту сильно испугался. Но, заглянув в застенчиво-дружелюбные глаза своего недавнего врага, он понял, что действительно гроза миновала, и крепко обнял, расцеловал его.

– И ты забудь... Милые бранятся – только тешатся.

– А что же у меня-то, Александр, ты так и не попросишь прощения? – со снисходительной усмешкой спросил Василий Львович.

Александр также улыбнулся в ответ и потупился.

– Да ведь не я, дядя, первый начал...

– Так, стало быть, и не тебе первому мириться? Ну, изволь, Господь с тобой! Гора не подошла к Магомету, так Магомет подошел к горе.

При виде протянутой ему руки сердце Александра смягчилось, и он так искренно сжал эту выхоленную, пухлую руку своими костлявыми, нервными пальцами, что Василий Львович даже поморщился.

– Полегче, брат!

Таким образом, общий мир был окончательно заключен и уже не прерывался. Гурьев после данного ему Пушкиным урока точно воспылал к нему особенною нежностью и весь остальной вечер заискивал, юлил около него, заглядывал ему в глаза, громче всех смеялся его остротам.

Когда, наконец, стали собираться восвояси и потребовали от буфетчика расчета, то между двумя Пушкиными – дядей и племянником – завязалось благородное соревнование: ни один из них не хотел допустить другого до расплаты. Александр, отведя дядю рукой, высыпал из маленького бисерного кошелька своего на прилавок весь наличный свой капитал. Но тут оказалось, что капитал этот не покроет и половины сделанных «депансов». Василий Львович, смеясь, доплатил остальное.

– Что и требовалось доказать! – сказал он. – А впоследствии, брат, увидишь, еще займешь у меня.

– Клянусь вам, дядя...

– Не заклинайся: нарушение клятвы – один из самых тяжких грехов.

Глава VI

Первый привет лица

Прощай, свободная стихия!
«К морю»

Мой первый друг, мой друг бесценный!
«И. И. Пущину»

Открытие лица, предполагавшееся к началу учебных занятий в других учебных заведениях, то есть 1 сентября, отлагалось дважды: сперва — вследствие замедления во внутренней отделке лицейского здания, потом — вследствие несвоевременной доставки из Петербурга классной мебели. Наконец, все было готово, и воспитанникам было предложено съехаться в Царское Село за несколько дней до 19 октября, когда должно было последовать формальное открытие лица.

За три дня до этого торжества Пушкины, дядя и племянник, выехали к месту в собственной бричке Василия Львовича, в которой прибыли еще из Москвы. Единственным путем сообщения между столицей и Царским Селом служило в то время шоссе; а так как им пользовался и весь высочайший двор, то оно содержалось в образцовом порядке, и трехчасовой переезд в Царское не столько утомил наших бывалых

путешественников, сколько возбудил в них волчий аппетит. Директор лицея Василий Федорович Малиновский принял Пушкиных тем более радушно, что знал Василия Львовича еще по Москве, и тотчас распорядился закуской. В ожидании последней Василий Львович усадил хозяина рядом с собой на диван и, схватив его за пуговицу, с обычным своим увлечением стал осыпать его, как из рога изобилия, столичными новостями. Племянник между тем точно чем-то подавленный, пришибленный, отошел на противоположный конец комнаты к окошку, выходившему в сад.

До последних дней погода стояла чуть не летняя: ясная, теплая. Но в последнюю ночь ртуть в градуснике разом упала ниже нуля: с раннего утра стоял густой туман, а теперь, к полудню, разыгралась первая зимняя вьюга. С ноющей тоской следил Александр за безжалостной игрой бушевавшего ветра: как срывал он с деревьев последние листья, как смешивал их с хлопьями крутящегося снега и тут же засыпал безжизненной белой пеленой, – не так ли точно срывались теперь и последние листья с вольного, беззаботного детства его, Александра, и заметались не на один год, а на целые шесть лет мертвящим снегом школьной дрессировки?

И крылатая мечта перенесла его уже далеко-далеко – в Москву, а оттуда еще за 40 верст далее – в милое Захарьино, имение покойной бабушки его, Марьи Алексеевны. С ранней весны они всей семьей перебирались уже туда на дачу; и вот он вдвоем с сестрицей Олей, неразлучной подругой его дет-

ских игр, весело обегает сперва весь дом, а потом взламывает наглухо заколоченную с осени дверь балкона. О, как здесь чудно, свежо, как дышится вольно! Рука об руку с Олей он соскакивает в сад и, со смехом таща ее за собой, во весь дух несется вниз по кленовой аллее, покрытой первым зеленым пухом, к манящему вдали зеркальному пруду. Бегут они и на бегу кричат друг другу:

– Смотри-ка, смотри: вон тут, помнишь, мы играли сколько раз в горелки?

– А там, направо, видишь, старый дуб, где обедали всегда в жаркую погоду?

В это время откуда-то доносятся к ним звонкие девичьи голоса, так и заливающиеся знакомою песней.

– Ах, это, верно, опять хоровод в деревне!

Но вот сестрицу Олю увели переодеваться. Он, Александр, потихоньку уносит со стола забытую отцом книжку с зарывается в глубину парка, где его уже никто не разыщет. Растянувшись на мягкой душистой траве, он раскрывает книгу. Но лежать здесь так отрадно: солнечные лучи сквозь прозрачную еще зелень пригревают так ласково... И интересная книга валится у него из рук. Заложив вместо подушки за голову руки, он лежит на спине и, не отрывая глаз, глядит в это синеющее между зелеными верхушками небо, по которому тихо-тихо плывут молочно-белые облака. И грудь у него ширится, точно готова распахнуться, и сам он готов ринуться туда, в эту глубокую, бездонную синеву,

и, падая, ухватиться за облачко, чтобы поплыть на нем, чем далее, тем лучше, хоть на самый край света...

– О чем замечтались, милый мой! – прозвучал над самым ухом Пушкина чей-то не то насмешливый, не то вкрадчивый голос, и чья-то рука фамильярно легла к нему на плечо.

Милые видения недавнего прошлого разлетелись, как дым. Снова перед глазами его замелькали, закрутились бесчисленные снежные хлопья, снова навис сверху непроглядный, свинцово-серый небесный свод, а сердце загрызла прежняя тоска. Резким движением плеча он отвел непрошеную руку и, нахмурясь, обернулся.

Перед ним стоял сухопарый господин в вицмундире, с тонкою усмешкой на тонких губах и с умильно-прищуренными, маслянистыми глазами; но глаза эти, вместе с тем, глядели так пристально, что, казалось, хотели проникнуть в самую душу.

– С кем имею честь?.. – холодно пробормотал Пушкин. Незнакомец беззвучно рассмеялся и ответил тем же ласковым тоном:

– Имеете честь говорить с одним из ваших будущих начальников, классным надзирателем Мартыном Степановичем Пилецким-Урбановичем. Но таковым я почитаюсь только по званию служебному, на деле же я буду вашим ближайшим другом, который вполне заменит вам и отца, и мать, и дядю.

– Никогда! – вырвалось у Пушкина.

– Та-та-та! Экой вы, милейший мой, недотрога и незамай-ка. Мне говорили уж, что вы до сей поры, как одичалый конь, не ведали узды и браздов. Наши бразды будут самые вольготные, можно сказать – бархатные, но все же научат вас идти туда, куда долг велит. Вы вступаете у нас, дорогой мой, в такую же родственную семью, как ваша, но, несомненно, в более благоустроенную, ибо, как я не без огорчения слышал...

Пушкин не дал ему договорить.

– Прошу вас, господин надзиратель, не трогать моей семьи! Я этого не могу позв... не могу слышать...

Пилецкий промолчал, только сжал свои тонкие губы, повернулся на каблуках и отошел к Василию Львовичу, который продолжал свою неумолкаемую беседу с Малиновским.

– Однако племянничек-то ваш, господин Пушкин, признаться сказать, еще строптивее, чем вы мне давеча говорили! – заметил Пилецкий.

– Не всякое лыко в строку, господин надзиратель, – благодушно вступился Василий Львович, – разлука, знаете, с родными, новая обстановка, то да се...

– Да и голод, конечно! – хватился Малиновский. – Что ж это не подадут горячего бульону?

И, позвонив слугу, он распорядился завтраком.

– Прошу вас, господа, закусить, чем Бог послал. Александр! Подите же сюда, покушайте с нами.

– Благодарю... право, не хочется... – отказался мальчик.

Зато Василия Львовича не нужно было еще раз просить; смачно закусывая, он обратился к надзирателю:

– Извольте видеть: даже аппетит у молодца отбило, хоть с утра во рту маковой росинки не было. Выражаясь фигурально, это – молодое деревцо, пересаженное на чужую почву: как его ни поливай – в первое время свежие дотоле листья поблекнут, свернутся. Все теперь в ваших руках, в руках его будущих садовников; вы можете акклиматизировать его, заставить приносить обильные и сочные плоды, как вот эта ветчинка. А славно запечена! Это у вас здешний колбасник мастер такой или из Питера вывезли? Отведай, Александр: во рту, я тебе скажу, тает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.